

НАДЕЖДА

ТЭФФИ

БАЛЬМОНТ

Надежда Тэффи

БАЛЬМОНТ

«Public Domain»

Тэффи Н.

Бальмонт / Н. Тэффи — «Public Domain»,

«К Бальмонту у нас особое чувство. Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он – наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий», которые влились в душу с первым весенним счастьем...»

Надежда Тэффи Бальмонт

К Бальмонту у нас особое чувство. Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он – наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий», которые влились в душу с первым весенним счастьем.

Теперь некоторым начинает казаться, что не так уж велик был вклад бальмонтовского дара в русскую литературу. Но так всегда и бывает. Когда рассеется угар влюбленности, человек с удивлением спрашивает себя: «Ну, чего я так бесновался?» А Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все, от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии, знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки:

Открой мне счастье,
Закрой глаза...

Либеральный оратор вставлял в свою речь:

– Сегодня сердце отдам лучу...

А ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-товарная, где телеграфист говорил барышне в мордовском костюме:

– Я буду дерзок – я так хочу.

У старой писательницы Зои Яковлевой, собиравшей у себя литературный кружок, еще находились недовольные декаденты, не желающие признавать Бальмонта замечательным поэтом. Тогда хозяйка просила молодого драматурга Н. Евреинова прочесть что-нибудь. И Евреинов, не называя автора, декламировал бальмонтовские «Камыши».

Камыш-ш-ши шуршат...
Зачем огоньки между ними горят...

Декламировал красиво, с позами, с жестами. Слушатели в восторге кричали: «Чье это? Чье это?»

– Это стихотворение Бальмонта, – торжественно объявляла Яковлева.
И все соглашались, что Бальмонт прекрасный поэт.

Потом пошла эпоха мелодекламации.

В моем саду сверкают розы белые,
Сверкают розы белые и красные,
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные.

Декламовала Ведринская. Выступали Ходотов и Вильбушевич. Ходотов пламенно безумствовал, старательно пряча рифмы. Актерам всегда кажется, что стихотворение много

выиграет, если его примут за прозу. Вильбушевич разделявал тремоло и изображал море хроматическими гаммами. Зал гудел восторгом.

Я тоже отдала свою дань. В 1916 году в Московском Малом Театре шла моя пьеса «Шарманка Сатаны». Первый акт этой пьесы я закончила стихотворением Бальмонта. Второй акт начала продолжением того же стихотворения. «Золотая рыбка». Уж очень оно мне понравилось. Оно мне нравится и сейчас.

В замке был веселый бал,
Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
Легкие качели,
И кружились под луной,
Словно вырезные,
Опьяненные весной
Бабочки ночные.
Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы зыбко,
И мелькала там в пруду
Золотая рыбка.
Хоть не видели ее
Музыканты бала,
Но от рыбки, от нее
Музыка звучала... и т. д.

Пьеса была погружена в темное царство провинциального быта, тупого и злого. И эта сказка о рыбке такой милой, легкой, душистой струей освежала ее, что не могла не радовать зрителей и не подчеркивать душевной атмосферы изображаемой среды.

Бывают стихи хорошие, отличные стихи, но проходят мимо, умирают бесследно. И бывают стихи как будто банальные, но есть в них некая радиоактивность, особая магия. Эти стихи живут. Таковы были некоторые стихи Бальмонта.

Я помню, приходил ко мне один большевик – это было еще до революции. Большевик стихов вообще не признавал. А тем более декадентских (Бальмонт был декадентом). Из всех русских стихов знал только некрасовское:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих...

Прочел, будто чихнул четыре раза.

Взял у меня с полки книжку Бальмонта, раскрыл, читает:

– Ландыши, лютики, ласки любовные,
Миг невозможного, счастья миг.

– Что за вздор, – говорит. – Раз невозможно, так его и не может быть. Иначе оно делается возможным. Прежде всего надо, чтобы был смысл.

– Ну, так вот слушайте, – сказала я. И стала читать:

Я дам тебе звездную грамоту,

Подножием сделаю радугу,
Над пропастью дней многогромною
Твой терем высоко внесу...

– Как? – спросил он. – Можно еще раз?

Я повторила.

– А дальше?

Я прочитала вторую строфу и потом конец:

Мы будем в сияньи и пении,
Мы будем в последнем мгновении
С лицом, обращенным на юг.

– Можно еще раз? – попросил он. – Знаете, это удивительно! Собственно говоря, смысла уловить нельзя. Я, по крайней мере, не улавливаю. Но какие-то образы возникают. Интересно – может, это дойдет до народного сознания? Я бы хотел, чтобы вы мне записали эти стихи.

Впоследствии, во время революции, мой большевик выдвинулся, стал значительной персоной и много покровительствовал братьям-писателям. Это действовала на него магия той звездной грамоты, которую понять нельзя.

* * *

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт – истинный вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает. Не думаю, чтобы такое мнение было безупречно верно. Но дело в том, что Бальмонта любили, а к Брюсову относились холодно.

Помню, поставили у Комиссаржевской «Пелеаса и Мелисанду» в переводе Брюсова. Брюсов приехал на премьеру и во время антрактов стоял у рампы лицом к публике, скрестив руки, в позе своего портрета работы Врубеля. Поза, напыщенная, неестественная и для театра совсем уж неуместная, привлекала внимание публики, не знавшей Брюсова в лицо. Пересмеиваясь, спрашивали друг друга: «Что означает этот курносый господин?»

Ожидавший оваций Брюсов был на Петербург обижен.

Как встретила я с Бальмонтом

Прежде всего встретила я с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта.

Тебя я хочу, мое счастье,
Моя неземная краса.
Ты солнце во мраке ненастья,
Ты жгучему сердцу роса.

Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Никольский, и было мне тогда четырнадцать лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось «посвящается Наде Лохвицкой». И упало оно, перелетев через окно, к моим ногам, привязанное к букетику полуувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. И все это было чудесно. Весна, ландыши, моя неземная краса (с двумя косичками и веснушками на носу).

Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт.

Потом, уже лет пять спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши (поэтессы Мирры Лохвицкой). Его имя уже гремело по всей Руси. От Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек читали, декламировали, пели и выли его стихи.

– Si blonde, si gaie, si femme, – приветствовал он меня.

– А вы si monsieur, – сказала сестра.

Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно, неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу.

Следующая встреча была уже во время войны в подвале «Бродячей собаки». Его приезд был настоящая сенсация. Как все радовались!

– Приехал! Приехал! – ликовала Анна Ахматова. – Я видела его, я ему читала стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс – Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью – меня, Анну Ахматову.

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес золотой венец славы. Шея его была дважды обернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темнолицое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц – «жен-мироносиц».

– Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь, – повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что «Бродячая собака» находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно.

– Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале.

* * *

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время войны 14-го года, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему мы все не заговорили по-польски.

– Они среди нас уже почти полгода, за это время можно было успеть научиться даже китайскому языку.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

– Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?

Студенты (они потом мне об этом рассказывали) были очень расстроены.

– Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски.

Когда узнали его ближе, конечно, простили ему все. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике мексиканцем, ясно, что в Варшаве он был поляком.

Случилось мне как-то завтракать с ним и с профессором Е. Ляцким. Оба хорохорились друг перед другом, хвастаясь своей эрудицией и, главное, знанием языков.

Индивидуальность у Бальмонта была сильнее, и Ляцкий быстро подпал под его влияние, стал манерничать и тянуть слова.

– Я слышал, что вы свободно говорите на всех языках? – спрашивал он.

– М-м-да, – тянул Бальмонт. – Я не успел изучить только язык зулю (очевидно, зулусов). Но и вы тоже, кажется, полиглот?

– М-м-да, я тоже плохо знаю язык зулю, но другие языки уже не представляют для меня трудности.

Тут я решила, что мне пора вмешаться в разговор.

– Скажите, – спросила я деловито, – как по-фински четырнадцать?

Последовало неловкое молчание.

– Оригинальный вопрос, – обиженно пробормотал Ляцкий.

– Только Тэффи может придумать такую неожиданность, – деланно засмеялся Бальмонт.

Но ни тот, ни другой на вопрос не ответили. Хотя финское четырнадцать и не принадлежало к зулю.

Последние годы жизни Бальмонт много занимался переводами. Переводил ассирийские псалмы (вероятно, с немецкого). Я когда-то изучала религии древнего Востока и нашла в работах Бальмонта очень точную передачу подлинника, переложенного в стихотворную форму.

Переводил он почему-то и малостоящего чешского поэта Верхлицкого. Может быть, просто по знакомству.

– Кошка, кошка, куда ты идешь?

– Я иду в колодезь.

– Кошка, кошка, зачем ты идешь в колодезь?

– Пить молоко.

Когда он читал вслух, кошка всегда отвечала жеманно обиженным тоном. Пожалуй, можно было бы и не переводить.

Переводы Бальмонта были вообще превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уайльда или Эдгара По.

* * *

В эмиграции Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире. Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла, – оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно.

– Ужасная квартира, – говорили они. – Нет стекла и дует.

В «ужасной квартире» жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она голая и залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь и позвали доктора.

Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:

– Вы, очевидно, ее мать?

– Да.

Еще внимательнее на Бальмонта.

– А вы отец?

– М-м-м-да.

Доктор развел руками.

– Ну так чего же вы от нее хотите?

Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные деньги делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.

Как нимб, любовь, твое сиянье
Над каждым, кто погиб, любя.

Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту.

Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любит ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья и смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе, под хохот и улюлюканье матросов.

Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего гонорара, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звенящие возможности».

– Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, – говорил он своей Елене.

Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:

– Елена была еще в своем ночном лике.

Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.

Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ними. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?

И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренно. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт».

Простая фраза – «Муж хочет пить» на их языке произносилась, как «Поэт желает утолиться влагой».

Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и вызывалось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бо-бо» – вместо больно, «баиньки» – вместо спать, «бьяка» – вместо плохой. Чего только не проделывает любовь с бедным человеческим сердцем.

* * *

Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно приветлив и ласков.

– Вы ездили в Виши?

– Да, ездила. Только что вернулась.

– Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!»).

– Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.

И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским, и он смеется.

То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию – отпущение грехов.

– За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.

– Неужели двух? – обрадовалась я. – Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.

* * *

Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный Театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей Птицы».

– Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец, слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного Театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.

* * *

Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.

Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.

Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали и громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик, с открытым ртом и подкаченными белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.

И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское.

В замке был веселый бал,
Музыканты пели...

Бальмонт!

И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся и мелькает в пруду волшебная рыбка.

И от рыбки, от нее
Музыка звучала...

Прочту и начинаю сначала. Как заклинание.

– Милый Бальмонт!

Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.

Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.